

Геннадий Малашин

(Не)забытые голоса Сибири

Эссе девятое

**«Всё в них было настоящее:
и страсть, и храбрость, и стихи...»***(Поэты Великой Отечественной)*

В изданном к пятидесятилетию Красноярского книжного издательства сборнике статей и воспоминаний «Связь времён» директор издательства военных лет Зоя Ильинична Семигук вспоминала:

«Беспощадным холодом, лютыми морозами запомнилась зима сорок второго года. И когда я думаю о том суровом времени, перед глазами встаёт одна и та же картина: сквозь заиндевшие окна едва брезжит утро. Как обычно, в эти часы нет электроосвещения. Оно нужнее заводам. Склонившись над своим письменным столом, мой товарищ сооружает в пепельнице крохотный костерок. Так мы отогреваем чернильницы. За ночь чернила в них превращаются в лёд. Мы — это я и Игнатий Рождественский — весь творческий состав краевого книжного издательства. Я — главный редактор, а затем и директор. Рождественский — литературный консультант. Но, когда надо, мы мастера на все руки — грузчики, корректоры, снабженцы...»

Так начинается этот очерк, названный автором просто: «Родине. Фронту. Победе».

Пришедшая на русскую землю двадцать второго июня 1941 года война изменила жизнь и судьбы всех советских людей. У одного из самых известных и любимых читателями фронтовых поэтов-сибиряков, Георгия Суворова, есть такие строчки, написанные в начале войны (неожиданно — в форме сонета, которую он полюбил на войне):

Ещё вчера мечтал об институте,
О книгах, о задуманных стихах,
Каникулярном будущем маршруте
Средь гор хакасских, о ночных кострах;
Мечтал о той торжественной минуте,
Когда кулан на голубых рогах,
Развевая ключья предрассветной мути,
Поднимет из-за гор расцветший мак.

Теперь всё прочь... И книги, и цветы:
Ты слышишь клич — опасность над страной.
Поэт, теперь маршрут изменишь ты,
Сменив берданку меткой нарезной,
Забудешь дебри, реки и хребты...
Сегодня ты — боец, готовый к бою.

...Об авторе этих строк, проникнутых любовью и к своей малой родине — приенисейской земле, мерцающей сквозь предрассветный туман «ночными кострами», и к родине большой, России — за которую он и идёт теперь, «меняя все прежние маршруты», сражаться, было написано за минувшие после Победы восемь десятилетий, к счастью, немало. Среди авторов публикаций о Георгии Кузьмиче Суворове — литературоведы, историки, журналисты, а ещё и — поэты, ленинградцы и сибиряки, его современники, те, кто знал его при его короткой жизни или открыл для себя его творчество уже после войны, на которой он погиб.

Составитель давней прекрасной книги памяти Георгия Суворова — «Звезда, сгоревшая в ночи» (Новосибирск, 1970), переизданной затем под названием «Соколиная песня» (Москва, 1972), поэт и публицист Леонид Решетников так начинал открывающее книгу размышление о своём погибшем ровеснике: *«Я не был знаком с ним. Но я знаю его. Ибо он — из того поколения двадцатилетних, которое в сорок первом лицом к лицу встретило первое своё настоящее испытание на прочность и с честью вышло из него. Один из тех, чья сущность и судьба, без остатка отданные родной земле, составили зримую черту, не затерявшуюся среди множества других иттрихов, наметивших прекрасный и трагический облик поколения. А я принадлежу к этому поколению...»*

Собственно, поэты начали писать о Суворове ещё до начала войны. В сибирских городах — в Новосибирске, Омске (где прошло начало его солдатской службы и где состоялись первые поэтические публикации Георгия) — он познакомился и подружился с местными поэтами: Елизаветой Стюарт, Александром Смердовым,

с известнейшим уже к тому времени Леонидом Мартыновым, который охотно «взял шефство» над начинающим путь к поэзии молодым автором.

Мартынов как бы подхватил эстафету у другого сибирского поэта, Ивана Ерошина, творческое общение с которым, как мы уже отмечали, началось у Суворова в селе Иудино (затем — Бондарево) и в Красноярске в конце тридцатых годов.

В селе Бондарево Георгий в 1937–1939 годах работал учителем русского языка и литературы, заочно продолжая учиться в Абаканском педтехникуме, — надо было помогать сестре и содержать самого себя (детство у Георгия было сиротским, со скитаниями по родным и соседям, с ранним попаданием в детдом...). Здесь вместе с земляком, журналистом Афанасием Шадриным, Георгий Суворов будет искать утраченные «писаницы» с могилы знаменитого иудинского философа Тимофея Бондарева. Здесь начнутся и первые его поэтические опыты. Но, как вспоминали Афанасий Шадрин и его собратья по перу, в ранних стихах Суворова преобладали мотивы «подспудной скорби», «есенинского упадничества»...

В 1939 году Георгий приезжает в Красноярск, поступает на подготовительное отделение факультета русского языка и литературы в Красноярский пединститут. К этому периоду относится его недолгое, но очень значимое знакомство с его ровесником и будущим собратом по поэтическому цеху, молодым красноярским поэтом Казимиром Лисовским. «... Суворов Гоша, Боря Богатков! Я знал обоих вас не понаслышке. Встречался часто. и до петухов мы упивались строчками стихов, тогда ещё — безусые мальчишки», — будет вспоминать потом Лисовский Георгия Суворова и другого погибшего поэта-сибиряка, Бориса Богаткова... Но вскоре Георгий призывают на воинскую службу, и учиться в институте ему, о чём он мечтал всю свою короткую жизнь, так и не пришлось...

Опубликовавший в 1988 году подборку фронтовых писем Г.Суворова Виктор Утков, друг и коллега Мартынова, рассказывает о творческом вечере Георгия Суворова, устроенном в Омске в марте 1941 года. В статье «Поэт-красноармеец», напечатанной в «Омской правде» вскоре после этого вечера, Леонид Мартынов писал: «За год военной службы Георгий Суворов немало вырос... Старый лирик Иван Ерошин должен радоваться за своего друга — ерошинские мотивы теперь почти не звучат в стихах Суворова. Учитель должен быть доволен учеником, ищущим творческую самостоятельность».

...Несмотря на то, что превратности нелёгкой (вечно — как бы походной) жизни Георгия

Суворова лишили его возможности серьёзной профессиональной учёбы, он упорно и успешно учился сам, учился прежде всего у тех поэтов, встречи и дружбу с которыми та же «походная судьба» ему щедро дарил: «Дорога, дымная дорога, из боя в бой, из боя в бой...» И если попробовать разложить перед собой стихи Георгия разных лет, с 1937 до 1944 года, то увидишь, как росла и мужала душа поэта, как вырабатывался, становился уверенным его поэтический почерк как стало вдруг в полной мере проявляться то, дарованное ему Богом, свойство его личности, что называют люди простым словом: «талант», «поэтический дар»...

Уходило привнесённое, случайное. Да, ушли, например, ранние фольклорные, ерошинские мотивы (но какая-то глубинная ментальная связь с душой «народа-языкотворца» пребывала непрерыванной!), да, ушли юношеские, внешние есенинские интонации (но подлинно народная, есенинская, жизнеутверждающая связь лирического героя с природой — осталась!). Священная война дала новые, потрясавшие темы для суворовской лирики, она определила новую меру тех духовных и эстетических ценностей, которыми будет отныне неукоснительно руководствоваться в своей короткой жизни его лирический герой. Произошло вдруг то, о чём другой поэт-современник Суворова скажет: «Нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту...»

Вот одно из самых драгоценных, талантливых, поздних, предсмертных, известных и, кажется, очень простых стихотворений Георгия Суворова 1944 года:

Мы тоскуем и скорбим.
Слёзы льём от боли...
Чёрный ворон, чёрный дым,
Выжженное поле...
А за гарью, словно снег,
Ландыши без края...
Рухнул наземь человек, —
Приняла родная.
Беспокойная мечта,
Не сдержать живую...
Землю милую уста
Мёртвые целуют.
И уходит тишина...
Ветер бьёт крылатый.
Белых ландышей волна
Плещет над солдатом.

Стихи эти не требуют никакого комментария. Они действительно просты, ясны и подлинно драматичны, в них ничего «ни убавить, ни прибавить» невозможно. Четыре лаконичных строфы (ничего лишнего в них не включить!), вместившие традиционные, казалось

бы, и привязанные образы русской народной поэзии — «чёрный ворон», «крылатый ветер», «чёрный дым», «милая земля», которую целуют «мёртвые уста» солдата («Приняла родная...»). И рядом с этими образами, в самом конце смертного боя, — как взрыв белого света: «А за гарью, словно снег, ландыши без края...»

Кончился бой, упал на родную землю безымянный солдат, о котором ничего, кроме солдатского его звания, мы не знаем. И какая бесконечная, немислимая, долгая, горькая, безвыходная боль нахлынет на нас в ту самую последнюю секунду, когда (перечитаем эту строфу!): «И уходит тишина... Ветер бьёт крылатый. Белых ландышей волна плещет над солдатом»... Безусловно, эти стихи в полной мере, каждым словом своим, относятся к тому бессмертному поэтическому мемориалу, который оставили всем последующим поколениям читателей-соотечественников павшие поэты Великой Отечественной...

Честно выполненный Георгием Суворовым солдатский долг, несколько лет горького и страшного опыта войны, пришедшее в боях осознание невероятной ценности человеческой жизни — и, при этом, в тех же боях до конца осознанной готовности, не задумываясь, если потребуется, отдать жизнь эту за Родину, — всё это и сформировало досрочно поэта Георгия Суворова, как сформировало всё это досрочно и десятки, сотни других, погибших и выживших, поэтов его поколения...

Армия и война как бы заново сложили, вылепили, окончательно отшлифовали его — и личность его, и даже внешний его облик. Не случайно все его военные друзья-поэты в своих воспоминаниях об этом внешнем «гвардейском» облике единодушно говорят почти одними и теми же словами. Вот, к примеру, слова о Суворове из посвящённого ему очерка классика советской поэзии Николая Тихонова:

«Он был из тех ладных молодых, в которых чувствуется что-то богатырски-молодое, и застенчивое, и дерзкое вместе, которые на вопрос: „Кто пойдёт в самое пекло?“ — отвечают, делая шаг вперёд: „Я пойду!“ Было и нечто суровое в этом ясном, открытом лице, может быть, оттого, что брови были слегка нахмурены и рот был очерчен решительно и строго. Глаза с задоринкой смотрели прямо на собеседника...»

И особо подчеркнём ещё очень важные слова Тихонова, относившегося, как точно подметила красноярский исследователь творчества Суворова профессор Галина Шлёнская, к Георгию с отцовской привязанностью и любовью. Тихонов пишет: «Передо мною стоял человек цельный, мужественный и полный какой-то скрытой нежности и грусти. Всё в нём было

настоящее (выделено нами. — Г.М.): и страсть, и храбрость, и эти неустоявшиеся и пьянящие, как молодое вино, стихи».

«Всё в нём было настоящее...» Как точно и просто сформулировал поэт главное в своём младшем собрате...

И сколько скорби и горечи будет в тихоновских словах, написанных после смерти Георгия Суворова: «Я всегда думал о Суворове. Мне так хотелось... чтобы он дождался до Победы»...

Умирая тринадцатого февраля 1944 года в военном госпитале от ран, полученных в своём последнем сражении с врагом, Суворов несколько раз перед смертью вспоминал имя своего старшего друга. А Николай Тихонов, рассказывая спустя годы после Победы о своей дружбе с поэтом-фронтовиком, вспоминал его стихи, которые Георгий по его просьбе читал ему, бывая в гостях в гостеприимной ленинградской квартире Тихонова. Война и любовь к жизни наполняли эти написанные между боями строки. Одно из самых Тихоновым любимых суворовских стихотворений называлось «Чайка».

Птица, полёт которой был на секунду увиден поэтом в начале боя, становится символом жизнеутверждающего и жертвенного служения молодых бойцов делу ратного подвига в борьбе с ненавистным врагом:

Как полумесяц молодой,
Сверкнула чайка предо мной.
В груди заныло у меня...
Зачем же в самый вихрь огня?
Что гонит?.. Что несёт её?
Не спрячет серебро своё...
Зачем? Но тут припомнил я...
Зачем? Но разве жизнь моя...
Зачем? Но разве я не так
Без страха рвусь в огонь атак?!
И крикнул чайке я: «Держись!
Коль любишь жизнь — борись за жизнь!»

Служивший в годы войны в осаждённом Ленинграде, Николай Тихонов назовёт свои воспоминания о Георгии Суворове словами из его стихов: «Сибиряк на Неве». Дело в том, что в 1942–1944 годах Суворов сражался на Ленинградском фронте. Два эти года тоже многое определили и в развитии личности, и в самом творчестве Суворова. Блокадный Ленинград с его опустевшими, прямыми, как стрела, проспектами и не сдающимися, несмотря на голод, холод, блокаду, мужественными людьми, навсегда войдёт в его сердце, в его душу. На излёте его короткой судьбы она одарит его дружеским общением с работавшими здесь во фронтовых газетах его сверстниками — поэтами Михаилом Дудиным и Сергеем Наровчатовым.

Обращение к «сибирякам на Неве» стало и для этих знаменитых в будущем советских литераторов не только источником узнавания загадочной дотолды для ленинградцев далёкой Сибири и неповторимого «сибирского характера», но и своеобразным глотком кислорода, поводом для жарких споров о поэзии в перерывах между боями и, конечно же, временем чтения взахлёб новых стихов, которые все трое продолжали на войне писать.

Сергей Наровчатов так вспоминал начало их дружбы с Суворовым: «... мы меньше всего говорили о смерти. Да, только в молодости возможно такое взаимораскрытие с первого взгляда, с первой встречи. О чём мы не говорили! ... мы были хмельны своей молодостью, прекрасной своей молодостью! Она обнимала всё: прошлые и теперешние встречи, написанные и ненаписанные стихи, начавшееся наступление на всех фронтах. И заветное, тревожное, ослепительное, то, что мы обозначили двумя словами: „после войны“. Это „после войны“ рисовалось нами как нечто яростное, бурное и — принадлежащее нам с начала до конца. Мы жили в эти часы предощущением счастья, не сознавая, что мы сами были тогда счастьем. Счастьем дышала наша молодость, счастьем наполнилась дымная ночь, счастьем звенели прерывистые слова...»

«После войны» и Дудин, и Наровчатов будут постоянно возвращаться мыслями к военным годам, и страницы их минувшей военной юности, которые невозможно забыть, окажутся прочно связаны с образом поэта-сибиряка, который для них «навсегда остался воплощением фронтовой молодости».

Перечитывая уже спустя несколько десятилетий стихи друга, Наровчатов сразу вспоминает Георгия Суворова как живого: «Кажется, только оглянешь — и вновь встанет на пороге твоей жизни ослепительный красавец с гвардейским значком на гимнастёрке, а за ним гвантуют очертания города твоей юности с адмиралтейской иглой, врисованной в бледно-зелёное небо, вспыхнут походные костры, с греющимися около них солдатами, услышатся давние стихи, прерываемые грохотом снарядов. И как в потускневшем зеркале увидишь и свой давний облик, мало чем сходный с теперешним...»

Михаил Дудин в 1944 году напишет предисловие к подготовленной Георгием Суворовым перед смертью к печати книге его стихов «Слово солдата». В предисловии есть такие слова, наполненные горечью и болью: «Это первая и последняя книга Георгия Суворова. Большие он ничего не напишет. Трудно сказать, что бы он сделал в будущем, потому что слишком много у него было возможностей, темперамента, воли и той силы, которая ещё не нашла себе

настоящего выхода. И эти стихи только маленькая часть его характера».

Возвращался памятью к своему другу и его стихам и Казимир Лисовский. Довоенные встречи с будущим командиром взвода противотанковых ружей гвардии лейтенантом Георгием Суворовым оказались незабываемыми. А боль от его безвременного ухода из жизни не проходила с годами.

...Особенно ты, Гоша, близок мне,
Ведь в Красноярске прожили мы годы!
Садись поближе к фронтовой родне,
Рассказывай, дружище, про походы.
...Читай стихи... Но нет, не можешь ты!
Ты смотришь вдаль спокойно и открыто,
Становятся уже твои черты
Как бы изваянными из гранита.
Ты как бы продолжаешь свой поход,
Застыв в броске в минуту смертной схватки...
И ветер времени годами рвёт
Полу окаменевшей плащ-палатки.

...Другим поэтам предстояло написать и дописать всё то, что «сибиряк на Неве» прочувствовать, прожить и воплотить в поэтических строчках не успел. Но многое ему, торопившемуся жить и торопившемуся записывать на клочках бумаги рождавшиеся в бою строчки, удалось успеть наметить, обозначить, сказать. Чудом сохранившиеся и потом напечатанные, его строки как будто до сих пор хранят дрожание лепестков ландышей, запах пороха и грохот взрывов. Ставший после окончания войны для друзей недвижимым, «изваянным из гранита», в стихах своих он до сих пор жив, он движется, бежит по полю боя — и мы, читатели двадцать первого века, вместе с ним как будто бежим в атаку и надеемся выжить, одолеть врага, мы чувствуем, грустим, радуемся, переживаем, скорбим вместе с ним. Такова сила настоящей поэзии и широкой, настоящей, русской души.

Исследователи многое уже успели сказать о главных темах и мотивах поэзии Суворова тех нескольких ленинградских военных лет — и о фронтовом братстве, которое он очень остро чувствовал на войне, и о коротких и блистательных портретах русских офицеров, которые он успел в своих стихах набросать. А о каких-то чертах суворовской поэзии ещё предстоит, наверное, сказать. Например, об удивительном умении поэта на секунду как бы остановить время, в какой-то микромиг перед началом боя разом охватить взглядом и запечатлеть словами не только всю картину поля боя, но и выделить из неё самые важные, образные детали — и одновременно запечатлеть те мысли и чувства, которые именно в эту секунду присутствуют в душе солдата, готового ринуться в бой...

Мужественная, но лирическая интонация, несколько мазками начерченная картина природы и эпическая стойкость духа русского солдата — они буквально в нескольких строчках вдруг сцепляются воедино и передают читателю самое главное, что чувствует автор, готовый вновь сквозь бесконечную метель и безответный мрак идти в сражение, «лишь тьму прорвёт ракета»:

Метёт, метёт... И нет конца метели,
Конца тяжёлым белым хлопьям нет.
Метёт, метёт... И замечает след
К моей солдатской полумёрзлой щели.
Метёт, метёт... И не увидишь света,
И не увидишь друга в двух шагах.
Вот через этот безответный мрак
Я двинусь в путь, лишь тьму прорвёт ракета.

Георгию Суворову суждено было ещё увидеть начало снятия блокады города, который он полюбил всей душой. Он мечтал о будущем, о том, как будет вспоминать, вернувшись на родину, и первый ленинградский праздничный салют двадцать седьмого января 1944 года, и всё, что происходило с ним и его друзьями «на берегах Невы» в эти годы их военной молодости:

Когда-нибудь, уйдя в ночное
С гривастым табуном коней,
Я вспомню время боевое
Бездомной юности моей.
Вот так же рдели ночь за ночью,
Кочуя с берегов Невы,
Костры привалов, словно очи
В ночи блуждающей совы.
Я вспомню миг, когда впервые,
Как миру светлые дары,
Летучим роем золотые
За Нарву перешли костры.

...Предчувствовал ли он, предугадывал ли свою гибель?.. Годы и годы спустя об этом обострённом предчувствии смерти у Суворова будут говорить и Тихонов, и Наровчатов.

Во всяком случае, всё это «поколение двадцатилетних» знало, что смерть бродит буквально в нескольких шагах от них («а до смерти четыре шага»), это поколение было готово в любой момент к смерти за Родину... Трагическая, горькая страница истории поколения. Николай Тихонов напишет: «... если поэту даны предчувствия, то он предчувствовал свою гибель, но мрака не было у него на сердце...»

Как удивительно точно и верно сказано: «... но мрака не было у него на сердце...»

Пришёл и рухнул, словно камень,
Без сновидений и без слов,

Пока багряными лучами
Не вспыхнули зубцы лесов,
Покамест новая тревога
Не прогремела надо мной.
Дорога, дымная дорога,
Из боя в бой, из боя в бой...

И строчки, созданные поэтами этого поколения, эту «походную жизнь» поколения, у которого «не было мрака на сердце», с осознанием того, что она в любой момент может внезапно прерваться, — они не могли эту жизнь по соседству со смертью не передать, не отразить искренне, полно и убедительно. Не оттого ли порой о том или ином последнем стихотворении погибших, навеки «оставшихся двадцатилетними» поэтов военного времени мы говорим: «Эти строки стали своего рода завещанием поэта, обращением поэта к нам, живым, к тем, ради которых он погиб...»?

Есть такое стихотворение и у Георгия Суворова. Оно вошло во все антологии поэзии военных лет, его чаще других суворовских стихов читают на вечерах поэзии Великой Отечественной, свои размышления об этом стихотворении оставили практически все, кто писал о поэте и его судьбе. Больше того, это стихотворение относится к тем буквально нескольким только стихотворениям, написанным участниками войны (есть такие строки и у Константина Симонова, и у Николая Майорова, и у Семёна Гудзенко, и у Павла Когана, и у Сергея Орлова...), которые без всякого преувеличения можно считать обращением ко всем нам — читателям и двадцатого, и двадцать первого века — от лица всего фронтového поколения...

«Эпиграфом к судьбе всего нашего поколения» назовёт эти суворовские стихи Михаил Дудин, к которому они и были обращены.

«Поразительной эпитафией... всем безвременно погибшим на фронте» назовёт это «слоуженное Суворовым за несколько дней до смерти стихотворение» Сергей Наровчатов.

Леонид Решетников называет эти строчки лучшими стихами Суворова, которые «переросли значение стихов как явления чисто литературного и стали выражением физического и нравственного подвига поколения. Эти слова написаны не только Воином, но и Поэтом».

Удивительные, поистине бессмертные стихи...

Ещё утрами чёрный дым клубится
Над развороченным твоим жильём.
И падает обугленная птица,
Настигнутая бешеным огнём.
Ещё ночами белыми нам снятся,
Как вестники потерянной любви,
Живые горы голубых акаций

И в них восторженные соловьи.
Ещё война. Но мы упрямо верим,
Что будет день — мы выпьем боль до дна.
Широкий мир нам вновь раскроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.
Последний враг. Последний меткий выстрел.
И первый проблеск утра, как стекло.
Мой милый друг, а всё-таки как быстро,
Как быстро наше время протекло!..
В воспоминаньях мы тужить не будем,
Зачем туманить грустью ясность дней?
Свой добрый век мы прожили как люди —
И для людей.

Последние строки этого стихотворения выбиты на памятнике на братской могиле в Сланцах, где покоятся останки поэта...

Пожалуй, никто не написал об этом стихотворении лучше, чем его друг Сергей Наровчатов, не успевший попрощаться с ним в медсанбате, где Суворов лежал, умирая от ран:

«Все лучшие черты поэзии Георгия Суворова нашли выражение в этом стихотворении. Это стихи огромного душевного и духовного простора. Прощальные слова уходящего наве человека, они сказаны как бы вполоборота на медленном неостановимом шагу. Первые строфы ещё звучат надеждой, что широкий мир откроется равно всем, но последние четверостишия звенят уже пронзительной нотой расставания. Меня всего буквально переворачивает от провидческих строк: „Мой милый друг, а всё-таки как быстро, как быстро наше время протекло“...»

И дальше Наровчатов пишет:

«В последних стихах Георгия Суворова разлита такая мудрая и всепобеждающая сила, что трудно поверить в принадлежность их молодому человеку, почти мальчику. В стихах заключена скорбная самооценка всего поколения, и строки „Свой добрый век мы прожили как люди — и для людей...“ — можно назвать поистине великими. Ведь в самом деле, великие слова свойственно произносить не только великим людям. Вряд ли политрук Клочков, обратившийся к бессмертным 28-ми со словами: „Велика Россия, а отступать некуда, позади — Москва“, — ощущал себя великим человеком. А он и впрямь был великим тогда, и великими остались его слова. Так и с Суворовым...»

И наконец, Наровчатов говорит о том, что в полной мере можно отнести к судьбе стихов и поэзии всего военного поколения, к которому его друг и он сам принадлежали. Замечательно точные слова:

«... наше поколение не выдвинуло гениального поэта, но всё вместе оно стало таким. И великие слова, сказанные Георгием Суворовым накануне

своей смерти, принадлежат всему поколению...»

Ещё одно не забытое, к счастью, сибиряками имя, имя родившегося и росшего в Красноярском крае воина и поэта, — гвардии старший сержант Борис Андреевич Богатков. Когда он погибнет на Гнездиловских высотах на смоленской земле, поднимая своими стихами взвод автоматчиков в атаку, ему ещё не успеет исполниться и двадцать один год... И конечно, подавляющая часть его стихов оставалась в лучшем случае в рукописи или в памяти однополчан и друзей. Только несколько успел он опубликовать при жизни в газетах и журналах Ачинска, Новосибирска, Москвы...

Буквально по крупичкам собраны были стихи Бориса Богаткова и воспоминания о нём, а потом изданы в 1973 году в Новосибирске в виде составленного другом Богаткова журналистом Н. Мейсаком и поэтом Л. Решетнёвым сборника. Сборник этот был назван ими очень просто, точно и горько: «Единственная книга». А в 2016 году в Красноярске вышел составленный писателем Александром Астраханцевым ещё один сборник красноярских поэтов-фронтовиков: «На линии огня». В нём тоже представлена полновесная подборка стихов Бориса Богаткова разных лет. Некоторые стихи Богаткова вошли и в другие антологии поэзии военных лет и поэзии Сибири двадцатого века.

...Когда листаешь страницы воспоминаний и рассказов о сержанте и поэте Богаткове, почти сразу убеждаешься: это был подлинный сын своего времени, своей эпохи. Один из лучших и типичных представителей своего удивительного, большей частью погибшего на Великой Отечественной поколения.

И действительно, вот одно из самых его ранних, 1940 года, стихотворений, «Майская ночь». Ты читаешь его — и в сердце сразу оживает когда-то увиденное и услышанное, звучит «Москва майская»: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля...» Вслед за хроникальными фигурами счастливых физкультурников, идущих майским парадом по Красной площади, всплывают в памяти начальные кадры бессмертного художественного фильма Михаила Калатозова и Сергея Урусевского «Летят журавли», в которых счастливые Вероника и Борис (тёзка Богаткова!) возвращаются домой по ещё не пропавшей Москве...

Я по улице спящей шагаю.
За углом репродуктор поёт.
Разукрашены здания к маю.
В звёздном небе парит самолёт.
Ветер свеж, как дыхание милой,
ночь тепла, как улыбка её.
И любовью с огромною силой
наполняется сердце моё.

Ныне в жизни встречается часто:
путь открыт нам, и цели ясны —
сочетанье природы и счастья,
сочетанье любви и весны.

Чувством этим, могучим и свежим,
я обязан — поэт молодой —
и любимой моей — самой нежной,
и стране своей — самой родной.

Он действительно был достойным сыном своего времени, а ещё и — безупречно порядочным и добрым, мужественным человеком. Называемый порой «сибирским Горьким» писатель Афанасий Коптелов таким рисует Бориса Богаткова: *«Сероглазый, светловолосый, немножко медлительный, он был на редкость простым, мягким и задушевым человеком. О нём говорили: „Скромный, как красна девица“. К этому можно добавить: честный, как сама правда (выделено нами. — Г. М.)».*

Как и у почти всего его поколения, довоенная судьба Бориса Богаткова не была простой, прямой и лёгкой. Родился в 1922 году в селе Балахта Ачинского уезда, в крепкой интеллигентной семье. В семье трое детей. Мать — учительница, отец — политарботник. Борис — самый старший. С детства пристрастился к чтению, читал запоем, особенно любил стихи. Но наступает 1931 год, смертельно больная мать попадает в больницу. Журналист Дмитрий Шеваров приводит текст записки матери из больницы. Его и сейчас нельзя читать без волнения: *«Милый мой мальчик, золотой мой Бориска, мы уже никогда не увидимся, прощай, воробышек мой. Я хочу, чтобы ты не плакал, никогда в жизни. Будь хорошим комсомольцем, мой Боря. Будь хорошим человеком, родной мой соколик».*

Отец постоянно ездит в служебные командировки. Девятилетнего мальчика забирает к себе родственница матери, Татьяна Евгеньевна Зыкова, живущая в Новосибирске, тоже учительница, заменившая ребёнку мать...

«Соколик Бориска» растёт, как и завещала родная мать, хорошим комсомольцем и хорошим человеком. Ещё он часто вспоминает отца, долгие ачинские вечера, когда отец рассказывал о своей комсомольской молодости. В Московской области, куда в 1939 году Борис переедет после окончания новосибирской десятилетки к сестре отца, будут написаны многие его ранние стихи, в том числе и эти строчки:

С завистью, большой и затаённой,
на отца смотрел я потому,
что наган тяжёлый, воронённый
партия доверила ему.
Вечерами зимними при лампе
он рассказывал, как их отряд

атакующей кулацкой банде
указал штыками путь назад;
как в сугробы падали бандиты,
чёрной кровью прожигая снег,
как взвивался пулями пробитый
красный флаг над сотней человек;
как партийцы шли вперёд бесстрашно
сквозь свинец и ветер, а потом
зло скрестили в схватке рукопашной
взгляд со взглядом, штык с чужим штыком.
Наизусть я знал рассказ подробный.
Всё же каждый вечер мне опять
вдруг казались неправдоподобны
стулья, шкаф, и лампа, и кровать.
Все они куда-то исчезали,
завывала в комнате пурга,
и передо мною проплывали
тучи дыма, флаги и снега...
Вспоминаю с гордостью теперь я
про рассказы своего отца.
Самому мне Родина доверит
славное оружие бойца...

Всю свою короткую жизнь он хотел быть бойцом и поэтом...

Стихотворение об отце, названное «Совершеннолетие», опубликует «Комсомольская правда». «Возьмёт разбег, далеко пойдёт Борка...» — ещё в Новосибирске говорили о нём друзья, молодые литкружковцы. А в Москве его принимает в свою поэтическую студию при «Комсомольской правде» не кто-нибудь, а сам Павел Антокольский! И когда в 1940-м Борис поступит на вечернее отделение Литинститута имени А. М. Горького (а днём будет работать в Москве на Метрострое), сам Алексей Толстой установит для талантливого студента и перспективного поэта персональную стипендию своего имени...

Он хотел быть бойцом и поэтом...

В сороковом году ему исполнится восемнадцать. Меняется постепенно тематика стихов, появляются новые мотивы. Всё прочитанное и любимое из русской поэзии — и Пушкин с Лермонтовым, и комсомольские поэты двадцатых, и, конечно же, самый любимый, Маяковский, — всё это так или иначе отзывается в новых строчках, без которых он свою жизнь уже не представляет. Вот как в этом, взятом для публикации журналом «Смена», стихотворении «Сквозь ливень»:

СКВОЗЬ ЛИВЕНЬ

Мелькнули молнии несколько раз.
Всё настойчивей грома удары
Повторяют прохожим приказ:
«Освободить тротуары!»
Старушечка, опуская веки,

Походкой дрожащей
Через улицу спешит к аптеке.
Вошёл гражданин в магазин ближайший.
И вот уж, побитый каплями первыми,
Красный флаг, что спокойно висел,
Вдруг, как что-то живое, с нервами,
Весь рванулся навстречу грозе.
С шумом на город, притихший, серый,
Дробясь об асфальт, уходя в песок,
Дождевые прозрачные стрелы
Густо льются наискосок.
В футболке, к телу прильнувшей компрессом,
В брюках блестящих, потяжелевших
Шагаю ливню наперерез я,
Почти спокоен, уверен, насмешлив.
Лучше так вот шагать всю жизнь,
Чем, грозу пережда,
Вслед за теми послушно плестись,
Кто прячется от дождя.

(В одном из вариантов этого стихотворения оно завершалось так:

И не видит душою праздною,
Как во всей красоте и силе
Сверкает и свищет полотнище красное,
Омытое ливнем от будничной пыли...)

«Наперерез ливню», «навстречу грозе» — так его лирический герой, который под ливнями «почти спокоен, уверен, насмешлив...», мечтал прожить свою жизнь. Они все «с детства не любили овал», они все упорно «рисовали угол»...

И совсем рядом с этим стихотворением, которое не только Маяковского, но и Багрицкого, и Блока, и нашего земляка Петра Казачкина заставляет нас невольно вспомнить, почти рядом, через год появляется совсем другое, полное скрытой нежности, мягкой боли, ностальгически-иронической рефлексии и, одновременно, интонаций почти пророческих, появляется стихотворение, названное автором «Остатки детства»:

Остатки детства

Хоть становлюсь я угрюмым, упорным,
меня иногда, как прежде,
влекут в дымное небо кричащие горны,
знамёна, стреляющие на ветру.
Но это случается реже, реже.
И, видимо, скоро в последний раз
почудится мне оружия скрежет
и блеск ненавидящих вражьих глаз.
Каменных стен огромные брусья.
Крепость в дыму, крепость в огне.
И, возглавляя отряды, мчусь я
на безупречно белом коне.
Что там на башне — не флаг ли белый

или порхнул от выстрелов дым?
Проломы в стене — не ловушка смелым,
они — триумфальная арка им!
Мой скакун пролетает над бездной.
Рвы за спиною.
Вперёд! Вперёд!
Мечей обнажаемых шёпот железный,
ворота вдруг распахнулись!.. И вот —
качнув головой, улыбаюсь устало:
Борис, Борис, довольно сражаться.
Ведь тебе ни много ни мало —
уже почти девятнадцать.

Эти строчки были написаны в подмосковных Вешняках в сорок первом. Когда? В апреле, может быть, или в мае, в начале июня... Вся прежняя жизнь, всё трудное, но всё же счастливое детство в эти стихи, как в походный чемоданчик «длиной в полметра», уместились. И все мечты «соколика Бориски» — «о подвигах, о доблестях, о славе», мечты о летящем над бездной прямо к триумфальной арке «безупречно белом коне» — он знает, видит, предчувствует это, — все они к нему придут, «видимо, скоро в последний раз»...

(Судя по содержанию ещё одного стихотворения, написанного тогда же в Вешняках, всё же это был май, май 1941 года...)

Значит, всего пара десятков листков календаря отделила эти строчки от другой, чёрной, хоть и воскресной, июньской даты.

И от другой жизни, в которой он всё равно останется прежним, «честным, как сама правда».

В ней не будет белых коней над бездной. Но будет всё то, о чём грезило его поколение: Подвиги. Доблесть. Слава... И ещё: Боль. Страдания. Смерть...

Эта, совсем короткая, меньшая часть жизни поэта и воина Бориса Богаткова начнётся с других строчек:

Наконец-то!

Новый чемодан длиной в полметра,
Кружка, ложка, ножик, котелок...
Я заранее припас всё это,
Чтоб явиться по повестке в срок.
Как я ждал её! И наконец-то
Вот она, желанная, в руках!..
...Пролетело, отшумело детство
В школах, в пионерских лагерях.
Молодость девичьими руками
Обнимала и ласкала нас,
Молодость холодными штыками
Засверкала на фронтах сейчас.
Молодость за всё родное биться
Повела ребят в огонь и дым,
И спешу я присоединиться
К возмужавшим сверстникам своим!

Этим строчкам предшествуют ещё два стихотворения сорок первого года, названия которых полностью выражают всё их содержание: «Годен!» и «Добровольцы».

Он, конечно же, в самые первые дни войны пошёл, не мог не пойти в военкомат. Просился в лётчики. Не взяли. Определили в авиационные техники. «Как, быть в тылу?..» И он снова просится — направить его в самую гущу войны, в пехоту.

У остановившегося во время начавшейся бомбардировки военного эшелона Борис вытаскивает на себе прямо под бомбами раненого друга (опять всё как в фильмах...). И — тяжелейшая контузия, госпиталь, полное снятие с воинского учёта, отправка в глубокий тыл.

...И вспомнил ты вид из другого жилья:

разбитые блиндажи,
задымленные поля
срезанной пулями ржи.
Плохую погоду —
солнечный день,
когда, бросая густую тень,
хищный «юнкерс» кружил:
чёрный крест
на белом кресте,
свастика на хвосте.

«Юнкерс» камнем
стремился вниз
и выходил из пике.
Авиабомб пронзительный визг,
грохот невдалеке;
вспомнил ты осязаемый щекой
холод земли сырой,
соседа, закрывшего голой рукой
голову в каске стальной,
пота и пороха крепкий запах...
Вспомнил ты, как, небо закрыв,
бесформенным зверем
на огненных лапах
вздыбился с рёвом взрыв...

В Новосибирске он работает в «Окнах ТАСС», «воюет с фашистами словом», создаёт стихи, поэмы и сатирические куплеты для газет, для радио. И, несмотря на категорические запреты врачей, снова рвётся на фронт, тайком ходит на курсы снайперов. И добивается своего. К 1943 году его зачисляют в прославленную в дальнейшем 22-ю Сибирскую добровольческую дивизию. Старший сержант Богатков назначается командиром взвода автоматчиков.

И наступил тот, последний, не прожитый до конца день его жизни — одиннадцатое августа 1943 года, когда командир автоматчиков старший сержант Борис Богатков пал смертью храбрых, поднимая свой взвод с красным флагом в руке в третью за тот день атаку песней

своей дивизии, которую написал за несколько дней до своего последнего боя.

...Песню вслед за командиром подхватили его бойцы:

Всё, гвардеец, в боях изведая —
Холод, голод, смертельный риск —
И героем вернись с победой

В славный город Новосибирск!..

Через несколько десятилетий другой Красноярский поэт, из другого поколения, который в том сорок третьем году только ещё пошёл в школу, как наяву увидит августовский миг сорок третьего года, когда была взята, наконец, нашими неприступная до того высота 233,3:

*«И шагнул поэт навстречу смерти, и запел...
через открытое поле, каждый сантиметр
которого простреливался перекрёстным
огнём, шёл, не пригибаясь, как на смотре, бело-
курый поэт в форме сержанта, и шёл за ним
его взвод — нет, уже батальон! — нет, уже
полк! — шли, надвигались на врага поющие
цепи, и пули с воем шарахались прочь... За-
чем же ты оглянулся, поэт?.. Оглянулся — и не
заметил, как исподтишка, подло ужалил тебя
выстрел, как с хрустом, навьлет, пробил твою
грудь свинец...»*

В своей легендарной книге «Добрая воля Сибири» Вячеслав Назаров приводит несколько писем, отправленных Борисом Богатковым другу в Новосибирск. Они дают нам драгоценное, хоть и скудное, представление о том, как жил и развивался поэт Борис Богатков на войне.

Вот он (так и остался романтиком!) просит прислать ему «стихи Шелли, Китса... и, если можно, Шиллера. Очень хочется поддержать за его романтические крылья». А вот просит друга помочь: «Где бы найти книжицы по пейзажу? По композиции? Блаженствую: могу заниматься литературой по ночам. Башка, ясно, гудит, но ничего — лучшие времена не за горами! Будем слушать лекции не под вой снарядов, а под лепет берёзок или, скажем, весенних черёмух...» А вот, за несколько дней до смерти, радуется тому, что написанное им хоть и не сделано ещё до конца, но оказывается востребованным однополчанами: «У меня много начато и не окончено. „Андрюшку-миномётчика“ всю поют по всему корпусу. Недавно слышал песню в исполнении агитбригады соседней части. В душе бьётся гимн нашей дивизии. Ну, пока! Гвардейский привет! Борис Богатков»...

Из недоделанного и недописанного — всё же дожили, дошли до публикации отдельные строки и строфы, которые наизусть запомнили оставшиеся в живых друзья. Однажды Борис услышал, как немцы на губной гармонике играют бетховенского «Сурка». «Они не смеют, не

должны к Бетховену прикасаться!» — восклицал он. И родились стихи, из которых осталась в памяти у друзей эта строфа:

Звучит «Сурок», летит орбитой вальса
гармоники отзывчивая медь.
Стреляй наверняка. Но постарайся
бетховенскую песню не задеть.

А вот строчки из полностью сохранившихся стихов сорок второго года. В них подлинная, не декларативная любовь к России, которая на минуту оказалась вся здесь, рядом с поэтом, превратившись в маленький русский лесок, занятый проклятым врагом. И — команда, которую ждут рядом с этим леском гвардейцы, простая и ясная: «Вперёд!»

Метров двести — совсем немного —
отделяют от нас лесок.
Кажется — велика ль дорога?
Лишь один небольшой бросок.
Только знает наша охрана —
Дорога не так близка.
Перед нами — «ничья» поляна,
А враги — у того леска.
...Впереди — города пустые,
Нераспаханные поля.
Тяжко знать, что моя Россия
От того леска не моя...
...Ливень пуль, сносящий пилотки,
И оживший немецкий дзот...
Только бы прозвучал короткий,
Долгожданный приказ: «Вперёд!»

А вот — стихи, обращённые к любимой девушке, второй (последний...) раз в декабре 1942-го провожавшей его на новосибирском вокзале на фронт.

Начало — простое и ясное, всего лишь — короткая зарисовка проводов на фронт. Сколько таких коротких прощаний видела Россия — тысячи, сотни тысяч, миллионы?..

У эшелона обнимемся.
Искренняя и большая,
солнечные глаза твои вдруг
затуманит грусть.
До ногтей любимые,
знакомые руки сжимая,
повторю на прощанье:
«Милая, я вернусь».

И внезапное — как прозрение, как предвидение, как завещание, исполненное какого-то потрясающего душу, подлинного гуманизма, мудрой и мужественной, взрослой человечности, — окончание этого короткого стихотворения, этого прощания...

Я должен вернуться, но если...
Если случится такое,
что не видеть мне больше
суровой родной стороны, —
одна к тебе просьба, подруга,
сердце своё простое
отдай ты честному парню,
вернувшемуся с войны.

«Почему ты лежишь один посреди России?» (И тоже ведь — Борис...)

Борис Андреевич Богатов был посмертно награждён за свой подвиг орденом Отечественной войны I степени, имя поэта было внесено навечно в списки его дивизии, в Ачинске и Новосибирске в честь него названы центральные улицы, на них установлены памятники Борису Богатову. Его имя было присвоено школе, где он учился, и одной из библиотек Новосибирска. Имя поэта внесено на мемориальный памятный камень поэтам-фронтовикам в Омске.

Но главное, конечно, — оставленные им нам стихи. Стихи, объясняющие нам, родившимся спустя десятилетия после великой Победы, природу героизма русских людей — рабочих и моряков, крестьян и учителей, пахарей и поэтов — на той Великой, на той подлинно Отечественной войне...

...Не жизнью —
Патронами дорожа,
Гибли защитники рубежа
От пуль, от осколков мин.
Смогли винтовки...
И, наконец,
В бою остались: один боец
И пулёмёт один.
В атаку поднялся очередной
Рассвет. Сразился с ночной мглой.
И отступила мгла.
Тишина грозовая. Вдруг
Моряк услышал негромкий стук.
Недвижны тела.
Но застыла над грудой тел
Рука. Не пот на коже блестел —
Мерцали капли росы.
Мичмана — бравого моряка —
Мёртвая скрюченная рука.
На ней живые часы.
Мичман часа четыре назад
На светящийся циферблат
Глянул в последний раз
И прохрипел, пересилив боль:
«Ребята, до девяти ноль-ноль
Держаться. Таков приказ».
Ребята молчат. Ребята лежат.
Они не оставили рубежа.
Напоминая срок

Последнему воину своему,
Мичман часы протянул ему:
«Не подведи, браток!..»

...Среди написанных памяти Бориса Богаткова стихотворных произведений есть и посвящённые ему стихи новосибирской поэтессы Елизаветы Стюарт, с которой они переписывались в короткий фронтовой период жизни Бориса. Стихотворение начинается и заканчивается простыми — как стихи самого Бориса, как любовь его поколения к Родине, как вся Поэзия — строчками:

Всё испытай — лишения и страданья.
Запомни всё, чем эти дни полны.
Пойми, что значит ожидать свиданья,
Отложенного до конца войны.
Почувствуй тяжесть вымокшей шинели
И жар в глазах на третью ночь без сна,
Когда бойцы щепоть махорки делят
И с ног, как пуля, валит тишина.
Пройди по развороченным дорогам,
Чужое горе, как своё, измерь
И руку друга павшего потрогай,
Чтоб вновь и вновь возненавидеть смерть...
...Мы вместе жили, погибли, бились.
И мы войдём в бессмертье навсегда,
Как после боя вместе мы входили
Во взятые обратно города.
...И ещё, и ещё имена...

Анатолий Седельников — ещё одна судьба, оборванная войной, ещё один безвременно ушедший от нас поэт. Родился в 1919 году в Туруханске, учился в классе у И. Д. Рождественского, закончил в Красноярске девятнадцатую школу (сейчас она носит его имя), рано начал писать стихи, мечтал о поступлении в Литинститут...

Тоже — достойный сын своего поколения. Гордившийся тем, что он — «умевший косить крестьянин», людям «в глаза говоривший только правду»:

Я из рода людей, что не любят хвалы
И в глаза говорят только правду.
Я живу на земле, как мне сердце велит,
Сын Отчизны, крепостного правнук.
Я — крестьянин и горд, что умею косить,
Знаю запахи хлеба и пота.
Я рождён для того, чтобы людям служить,
Чтобы делать на совесть работу.
Я рождён для того, чтобы песню сложить
Про мою дорогую Россию.
Ради этого стоит, по-моему, жить,
Делать жизнь ещё лучше, красивой.

Командир разведгруппы, младший сержант, отдавший свою жизнь, чтобы приблизить победу.

Ни песен не было, ни разговора,
А люди шли и толпами, и врозь.
Двенадцать дня. У рупора весь город,
Вот с этого, пожалуй, началось.
Война... Под плач, под маршей переливы
Мы все спешили, будто под набат.
Но мимо всех спокойно, молчаливо,
Не торопясь, куда-то шёл солдат,
О чём он думал, эту весть встречая?
Он шёл, курил, смотрел на облака,
А перед ним, размеренно качаясь,
Как ласточка, летела тень штыка...

«Я чувствую, что скоро придётся уехать на фронт, — пишет он в своём дневнике, в учебном лагере под Иркутском, через два дня после начала войны. — Сегодня я хочу отправить эту тетрадь вместе с фотографиями и стихами Н. [жене]... Когда-нибудь я продолжу свой дневник, и маленькая книжечка будет заполнена новыми стихами.»

На фронте он будет успевать писать свои стихи на попадавшихся ему листках бумаги. Стихи его запоминали, знали его фронтовые друзья. *«Про то, что он пишет стихи, знали лишь самые близкие товарищи. Он их часто нам читал на привалах. Некоторые из них мы знали наизусть...»*

Ещё в сентябре 1941 года его полк попал в окружение. Поэт переживёт нацистский плен, бежит из него, станет партизаном, будет вместе с друзьями организовывать масштабные диверсии против неприятеля. Проявит себя как талантливый военный («обладал врождёнными качествами военного разведчика»), будет за свои подвиги при жизни награждён орденом Ленина, после смерти — орденом Отечественной войны I степени. Одиннадцатого ноября 1944 года поэт погибнет в разведке на польской земле, близ города Лутутув. Обстоятельства гибели остались неизвестными. Ему, как и Георгию Суворову, только-только исполнилось двадцать пять...

Вот одно из последних стихотворений Анатолия Седельникова 1944 года. В публикациях о нём даже встречается упоминание, что поэт прочитал его друзьям перед уходом на последнее боевое задание. Так ли, нет ли — но оно из разряда тех самых, последних, предсмертных, обращённых к будущим поколениям стихов поэтов-фронтовиков.

Называется стихотворение просто: «Родине»...

Родине

Пусть не иссякнет теплота,
Которой ты меня согрела.
Пусть будет вечной сила та,
Которой ты поила тело.
Благословлённая земля,

Навеки будь благословенной!
Твои долины и поля
Топтать не будет враг презренный.
А если в огненном аду
Меня настигнет пуля злая,
Я верным сердцем припаду
К тебе, как капля дождевая.

Один из немногих выживших на войне поэтов-сибиряков, вернувшийся домой, на красноярскую землю, инвалидом после нескольких тяжёлых ранений, Пётр Коваленко (Виктор Астафьев считал его одним из лучших поэтов-фронтовиков России) всю свою долгую жизнь будет помнить о погибших друзьях, познать о войне и писать те стихи, которые они сами уже никогда не напишут...

И чей-то стон,
И чей-то крик души
Меня в который раз навьлет ранит.
Я слышу павших голоса: «Пиши!..» —
И с песнями иду, живые, с вами.
И годы, словно мины, шелестят,
И глаз я не смыкаю до рассвета.
Да если б я не жил судьбой солдат,
То никогда не стал бы я поэтом!

И ещё строчки-воспоминания о них обо всех, навсегда оставшихся вчерашними школьниками, обо всех них, ставших потом героями — павшими и, как сказал ещё один писатель-фронтовик, «вечно живыми»...

Мы ушли из школы
В маршевые роты.
От доски — в окопы,
В родинках чернил.
Не росой июльской,
А солдатским потом,
Не водой, а кровью
Я в боях их смыл...

И ещё одно — стихотворение? — нет, реквием Петра Коваленко:

Вы знаете, что я убит?
И перед вами только камень,
Искусно вытесан руками
Из серых плит.
Вы знаете, что я убит?
И изваянем из бетона
Стою один среди газонов,
А жизнь летит...
Вы знаете, что я сожжён
В горячих топках Майданека?
И тощий прах мой чёрным снегом,
Кружась, ложится на пион.

Я в каждой веточке весны,
Вдыхане каждым, в каждой песне.
Я здесь — незримо, с вами вместе,
У постамента тишины.
Я — струйка Вечного огня,
Цветок, упавший к изголовью,
Росой обрызган, словно кровью,
В разгаре дня.
Я весь в горенье и в любви,
Я камнем стал, чтоб жили вы!

Эссе десятое

**«... а третьего не дано. „Третье“
наступает потом!..»**

*(Стихи сороковых — пятидесятых
годов двадцатого века)*

Первый послевоенный, 1946 год. Одиннадцатого июля президиум правления Союза писателей СССР принял решение о создании нескольких региональных отделений Союза, в их числе — Красноярского. Новая писательская организация во главе с ответственным секретарём Сергеем Сартаковым начала свою многолетнюю работу. В её состав, кроме Сергея Сартакова и Николая Устиновича, вошли журналисты и поэты Игнатий Рождественский и Казимир Лисовский, чуть позже — Лия Гераскина, а потом и — возвращавшиеся или переезжавшие в Красноярский край после войны литераторы новых поколений.

Члены Союза стали постоянными участниками возродившегося в 1944 году в местном книжном издательстве «Красноярского альманаха»; только теперь он получил новое название: «Енисей». Книги Сартакова, Устиновича, Рождественского и Лисовского регулярно включались в план выпуска печатавшихся в Красноярске в послевоенный период изданий, наряду с важной и нужной советскому обществу общественно-политической, социально-экономической литературой.

Большинство же знакомых и полюбившихся нам поэтов конца тридцатых — начала сороковых с фронта не вернулись... А судьба ряда других, оставшихся в живых литераторов складывалась по своим, не связанным напрямую с литературой, законам...

Первый послевоенный год — хотя и счастливый (только что Победой закончилась страшная война), но — трудный.

В знаменитом многосерийном документальном телефильме «Летопись полувека», подготовленном на ЦТ к пятидесятилетию Великого Октября, свой фильм о 1946 году «Мирное время» режиссёр Игорь Беляев начал кадрами, снятыми с самолёта, пролетающего над разрушенными в войну советскими городами — одни стены остались от многоэтажных домов, а где-то и стен не оставалось... Предваряет эти кадры —

первый после войны мирный Новый год: ёлка 1946 года в Москве, скудно одетые, но счастливые дети 1946 года, простенькие, но такие дорогие для этих детей ёлочные игрушки 1946 года... Мальчик, «сын полка», рассказывающий о судьбе своих погибших на войне родителей. И ещё — клоун с грустными глазами, играющий в кадре на губной гармонике (к этому образу режиссёр потом будет возвращаться в своём фильме)... Мирное время...

Но будут ли они легче, те наступавшие после этого первого, послевоенного, годы? 1948-й, 1951-й, 1953-й?..

Первый послевоенный год, который советской литературе станет памятен по наступившему вскоре после создания Красноярской писательской организации месяцу: августу 1946-го. Двадцать первое число. Знаменитое, только через несколько десятилетий отменённое Постановление Оргбюро ЦК ВКП (б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“». То самое, антиахматовское, антизощенковское, антитихоновское, антиписательское, по всему Союзу объявившее начало борьбе, в частности, против «пустой, безыдейной поэзии»...

По существу, оно коснулось судеб и творчества всех российских литераторов и всех писательских организаций и издательств, новых ли, старых ли... Как покаянно писал по поводу другого постановления ЦК (их в оставшиеся сороковые годы вышла целая серия, целый цикл — вожди боролись с «ошибочным» репертуаром драматических театров и «порочными» кинофильмами, с «сумбуром вместо музыки» и, наконец, с «антипатриотическими группами театральных критиков») вошедший в руководство Союзом писателей, любимый читателями военных лет поэт Константин Симонов, «мы все упомянуты в постановлении, даже если там нет наших имён»...

(А впереди ведь были ещё и послесталинские кампании против ославленного как «свинья в огороде» Бориса Пастернака, против «тунеядца» Иосифа Бродского, а ещё позже, после Хрущёва, — кампании против Солженицына, против Синявского и Даниэля...)

И не одному, и не двум, и не трём «местным» поэтам — в Новосибирске ли, в Иркутске ли, в Красноярске или Абакане — впору было вслед за опальным Пастернаком твердить как молитву:

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет.
Тёмный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду.
Будь что будет, всё равно...)

А в 1946-м в Сибири последовавшие после августа основные «идеологические репрессии» коснулись, прежде всего, остававшегося литературной столицей региона Новосибирска, хотя соответствующие покаянные собрания и обличительные статьи в газетах были организованы во всех более-менее крупных городах и областях Сибири.

Так или иначе, постановление ударило по большинству крупных, настоящих имён. Полной мерой тогда досталось сибирским собратьям Анны Ахматовой, выдающимся сибирским поэтам-лирикам — только-только переехавшему из Омска в Москву Леониду Мартынову и продолжавшей работать в Новосибирске Елизавете Стюарт...

Партийные критики прицельно били по недавним, таким востребованным фронтовым читателем, «военным» стихам Е. Стюарт, не находя в них ничего, кроме якобы «безнадёжной тоски, горя и слёз». Это писалось и говорилось о поэте, недавно создавшем такие — да, пронзительно-горькие, но и — полные веры в светлое послевоенное будущее строки:

...Забудь о смерти, если это нужно,
Забудь о ранах, если длится бой,
И если нужно — брата по оружию
От вражьей пули заслони собой.
Когда ж и смерть желанной показалась,
Когда вперёд и шаг не ступить,
Преодолей внезапную усталость,
Чтоб с новой силой оставаться жить.
Пойми, что значит горечь отступленья,
Когда уходишь со своей земли,
И вместе с нами на полях сраженья
Ты, наконец, победу раздели.
Твоя судьба должна быть с нашей схожа.
И если ты всё испытал, тогда
Мы скажем: да, он вместе с нами прожил
Суровые и грозные года!..

Стихам Елизаветы Стюарт, как и «сестре моей» этих стихов, ахматовской лирике, отказывалось в праве на место в «созидательной, оптимистической советской литературе». Не о таких ли мгновениях жизни будет вспоминать сама Стюарт спустя годы «ночами без сна»?..

Бессонница. Твержу стихи на память.
Одно, другое, третье — без конца...
Ночь прижимается к оконной раме
И глаз не сводит с моего лица.
Чего ты хочешь, ночь?
Чего ты хочешь,
Заглядывая в глубину квартир?..
Клокочет мир.
И, войны вновь пророка,

Грохочет растревоженный эфир...

Не спится.

Я твержу стихи на память.

Одно...

Другое...

Третье...

Всё тесней

Ночь прижимается к оконной раме.

Пугает мраком...

Я не верю ей!

А «одним из последних успевший подышать воздухом поэтического обновления начала XX века» Леонид Мартынов вынужден был, с 1946-го начиная, опять надолго замолчать как поэт и зарабатывать на жизнь переводами. И только после смерти Сталина, спустя почти десять лет, он вновь вернётся к своим читателям, вернётся, как возвращается к нам однажды дальнее, но мощное эхо...

Эхо

Что такое случилось со мною?

Говорю я с тобой одною,

А слова мои почему-то

Повторяются за стеною,

И звучат они в ту же минуту

В ближних рощах и дальних пущах,

В близлежащих людских жилищах

И на всяческих пепелищах,

И повсюду среди живущих.

Знаешь, в сущности, это не плохо!

Расстояние не помеха

Ни для смеха и ни для вдоха.

Удивительно мощное эхо.

Очевидно, такая эпоха!

...Но тогда, в 1946-м, «такая эпоха» не только ещё не наступила, но и подумать-то о ней было невозможно. Не случайны, наверное, строки 1948 года из частично опубликованной переписки Сергея Сартакова с его коллегой и другом Афанасием Шадриным: «... Что тебя одолевает апатия, мне не диво. Я и сам проходил через такую полосу в жизни и вынес ощущение: сломи её насильно, с мукой, с жестокостью для себя — захлестнёт, затянет, сделает обывателем... Говоря библейскими примерами, здесь не без дьявола. Борись, Апанас, борись. Жги на жаровне руку, но не подавайся соблазну, человек должен быть беспокоен, покой ему — в смерти, а смерть искать не надо: она и так неизбежна, — надо искать, как уйти от неё...»

...Строчки, как будто, специально написанные для того, чтобы можно было взять их эпиграфом к следующей части нашего рассказа, связанной с не публиковавшимися по понятным причинам, с потаёнными страницами настоящей поэзии,

рождавшейся в конце сороковых — начале пятидесятых на красноярской земле.

Страницы этой потаённой поэзии связаны с Красноярским краем как с «местом каторги и ссылки», которым бывшая Енисейская губерния продолжала оставаться и в послевоенные годы.

Страницы эти, созданные политическими заключёнными и политическими ссыльными, открывались читателю, как правило, только спустя несколько десятилетий после окончания и заключений, и ссылок авторов этих страниц.

Так, только в конце восьмидесятых — начале девяностых стало возможным для советского читателя прочесть написанное когда-то на берегах Енисея (тогда ещё — только прозу и письма) Ариадной Эфрон, дочерью одного из самых великих русских поэтов двадцатого века — Марины Ивановны Цветаевой.

Ариадна Сергеевна Эфрон. Искусствовед, художник, переводчик, мемуарист. А поэтом себя дочь Цветаевой не именовала. Поэтом — на все времена и от Бога — всю свою жизнь она считала свою мать, публикации творческого наследия которой она посвятит все, без остатка, оставленные ей Богом после выхода на волю годы: целых два десятилетия.

Но были в её жизни, до наступления этой долгожданной свободы, несколько тяжких, страшных, окончательно надломивших её здоровье, но не сломивших её личность, роковых лет, которые она не по своей воле провела в нашей Сибири. Вот тогда-то и были написаны ею эти дошедшие до нас сквозь время, уже в 2000-м, стихи. Видимо, тогда, в сороковых-пятидесятых, без стихов, без целительной помощи поэзии (а жить поэзией её с малолетства приучила её гениальная мать), — без стихов в Туруханске выжить Ариадна Эфрон не могла...

Это удивительные шестнадцать сохранившихся и опубликованных к настоящему дню стихотворных произведений дочери Цветаевой... В них — всё: и боль неволи, и самые разные люди, которые её в ссылке окружали, и душевная высота автора, и не оставивший её Бог. И — понятная в той ситуации и безнадёжная, кажется, мечта о невозможной свободе. «На свете счастья нет, но есть покой и воля...»

И ещё в этих стихах — удивительная, казалось бы, для нас, с учётом того, где и когда эти стихи были написаны, восхищённая любовь к Енисейскому Северу.

В 1995 году журнал «Новый мир» опубликует подготовленные цветаеведом Анной Саакянц дневниковые записи Ариадны Эфрон, относящиеся к наступившей уже в стране очередной «другой» эпохе — к июлю 1965 года. В 1965-м, спустя десять лет после окончания своей

туруханской голгофы (и за десять лет до своей смерти), Ариадна Эфрон решается снова плыть в Туруханск, вместе с А.Саакянц и со своей подругой, которая была с ней рядом все её неполные шесть или семь туруханских лет, Адой Шкодиной.

Напечатанный в «Новом мире» путевой дневник Ариадны Сергеевны Эфрон — сам по себе исполнен поэзии. Для сибиряков (а Эфрон после Туруханска называла себя завзятой, «почти коренной» сибирячкой) — поэзии особенно важной: ведь всё, о чём Эфрон пишет, — наша малая родина. «Всё — вне: времени (часа), времени (века), движения; как бы в подвешенном состоянии, только вода несётся ниоткуда и в никуда...» — это о начале её пути по Енисею в 1965 году. Пути — почти паломнического: «Собственно, это была не поездка, а своего рода паломничество», — так скажет она потом в письме к одной из своих бывших сокамерниц.

И этому же адресату незадолго до смерти напишет приводимые публикатором дневника слова, которые и объясняют для нас природу этого противоречивого, не то — двойственного, не то — тройственного, отношения дочери Цветаевой к Приенисейскому Северу, открывшемуся ей в её бессрочном, как определено было тюремной властью, в вечном поселении на туруханской земле: «Конечно, наш Север манит нас и манить будет — нас, зла не помнящих, а только добро, великое добро и великую красоту природы — да и некоторых людей, встреченных нами в ту пору. Теперь, по прошествии времени, видишь, какой элитой человеческой мы были окружены в нашей эвакуации. Не говоря уж о том, что в лихую годину людям (не всем, конечно!) свойственно становиться элитой; сами обстоятельства требуют от человека выбора между высотой и низостью, а третьего не дано. „Третье“ наступает потом!»

До начала её туруханской ссылки в её жизни было уже много того, что могло бы само по себе стать темой для множества чьих-то поэтических циклов. Рождение в 1912 году в Москве, в семье поэта Марины Цветаевой и будущего белого офицера, а потом — агента НКВД Сергея Эфрона.

О своём детстве лучше всего она сказала сама, в одном, порой цитируемом, не туруханского цикла, своём детском, матерью когда-то, в той ещё жизни, опубликованном, коротком стихотворении:

Корни сплелись.
Ветви сплелись. —
Лес Любви.

Отъезд вместе с матерью после Гражданской войны за границу, сначала — в Чехословакию, а с 1925 по 1937 год — во Францию, где и

получила спасение её потом в Туруханске специальное художественное образование. Репатриация в марте 1937 года в СССР, счастливая журналистская работа в родной стране. Рядом — любимый человек, потом — отец, потом — мать с братом... В 1939 году — арестована, на основании выбитых из неё показаний спустя некоторое время был арестован и отец, позже расстрелянный. Приговор обвинённой в шпионаже Ариадне — восемь лет исправительно-трудовых лагерей. С опозданием узнает она о самоубийстве в начале войны горячо любимой матери, потом — о гибели на фронте брата, как с опозданием узнавала об аресте и заключении сестры матери, Анастасии Цветаевой.

Через восемь лет освобождена, год с лишним живёт в Рязани. Недолго, но очень счастливо (любимица всех студентов) работает в местном художественном училище, преподаёт живопись. (К этому времени относятся такие её строчки о поэзии — к вопросу о поэзии в её жизни — из переписки с Борисом Пастернаком: «Поэзия сегодняшнего дня — это, на мой взгляд, сплошное „хлеб наш насущный даждь нам днесь“, и только один Маяковский владел ею вполне, — и она им. Но — не единым хлебом жив человек, даже в такие времена, когда хлеб — это всё... Велика и глубока сила поэта, и равна ей по величине и глубине только память читателя, о которой обычно поэты не имеют понятия...» (сентябрь 1948 года).)

И, двадцать второго февраля 1949 года, новый арест. Как ранее осуждённая, приговорена к пожизненной ссылке в Туруханский район Красноярского края, куда и прибыла этапом двадцать восьмого июля 1949 года.

«Из Красноярска ехали паромом по Енисею, что-то долго и далеко, я никогда ещё в жизни не видела такой большой, равнодушно-сильной, графически чёткой и до такой степени северной реки. И никогда не додумалась бы сама посмотреть. Берега из таёжных превращались в лесотундру, и с севера, как из пасти какого-то взвездного зверя, несло холодом. Несло, несёт и, видимо, всегда будет нести. Здесь где-то совсем близко должна быть кухня, где в огромных количествах готовят плохую погоду для самых далёких краёв.

„Наступило резкое похолодание“ — это мы. Закаты здесь неопишуемые. Только великий творец может, затратив столько золота и пурпура, передать ими ощущение не огня, не света, не тепла, а неизбегного и неумолимого, как Смерть, холода. Холодно. Уже холодно. Каково же будет дальше!

Оставили меня в с. Туруханске, километров 300–400 не доезжая Карского моря. Все хибарки деревянные, одно-единственное здание

каменное, и то — бывший монастырь, и то — некрасивое. Но всё же это — районный центр с больницей, школами и клубом, где кино неуклонно сменяется танцами...»

Это тоже — из переписки с Борисом Пастернаком, из письма от двадцать шестого августа 1949 года. Подробностей о том, что произошло с ней, Ариадна Сергеевна, конечно, Пастернаку не пишет: вместо «арестовали» — «завербовали меня сюда очень быстро»; вместо объяснения приговора — ироническое и вполне цензурное: были «нужны люди со специальным образованием и большим стажем, вроде нас с Асей»; вместо описания этапа — нейтральное: «... а ехала я до места назначения около четырёх месяцев самым томительным образом».

Их переписка — двух очень духовно близких, искренне преданных друг другу друзей — будет длиться почти до кончины Бориса Леонидовича. Она опубликована, эта переписка, в 1982 году — в Париже, а после начала перестройки — напечатана была и в России. Именно из неё можно узнать о многих и многих подробностях «туруханского бытия» Ариадны Эфрон, которые дополняются и расшифровываются рядом вышедших за эти несколько десятилетий, любовно и тщательно подготовленных специалистами отдельных изданий и довольно многочисленных журнальных публикаций об Ариадне Эфрон.

Бытовые и социальные условия, в которых жили А. Эфрон и её подруга, были невероятно тяжёлыми, но всё же они выжили на суровой туруханской земле (сначала Ариадне Сергеевне удалось найти работу уборщицы в местной школе, а к январю 1950-го ей, «вечной поселенке», политически неблагонадёжной, просто посчастливилось перевестись на работу «почти по специальности» — художником районного Дома культуры, клуба то есть, с кино и непререкаемыми танцами).

Когда-то её мать написала бессмертные стихи о своём «письменном верном столе», который для Цветаевой чаще всего был «виртуальным», условным. В одном из ранних писем к Пастернаку Эфрон пишет о мечте о своей комнате, где можно было бы закрыться и работать и которой «за 36 лет жизни у ней никогда не было»... И вот, чуть позже, через год, как великое счастье — маленькая, но своя избушка на самом берегу реки, которую удалось им с Адой Федерольф-Шкодиной купить, в том числе благодаря материальной помощи всё того же Пастернака.

«Представьте себе маленький домик на берегу Енисея, под крутым обрывом, настоящий отдельный домик — одна светлая и довольно большая комната, крохотная кухонька с плитой, маленький чуланчик и маленькие сени, вот и всё. Три окна, на восток, юг и запад»...

...Пастернак много и от всего сердца помогал ей, это была буквально спасительная помощь — и неизвестно, что было здесь важнее, помощь материальная или духовная. Да и возможно ли было их тогда разделить?..

«Я получила всё, посланное тобой, и за всё огромное тебе спасибо. Стихи твои опять, в который раз потрясли всю душу, сломали все её костыли и подпорки, встряхнули её за шиворот, поставили на ноги и велели: живи! Живи во весь рост, во все глаза, во все уши, не щурься, не журись, не присаживайся отдохнуть, не отставай от своей судьбы!..» (Вспомним снова строчки из письма Сартакова Шадрину, предварявшие эту часть нашего рассказа...)

«Пастернак спасал мне жизнь...» — так она сама однажды скажет об этой дружбе.

Деньги, книги и письма...

«Здесь облака часто похожи на твой почерк, и тогда небо — как страница твоей рукописи, и я бросаю коромысла и читаю её, и всё мне дается хорошо...»

Разговор двух поэтов, разговор, как один из них и предлагал однажды своему другому, случайно-неслучайному собеседнику, «о жизни и о смерти»...

Подборка из шестнадцати написанных в Туруханске стихов Ариадны Эфрон была опубликована в журнале «Новый мир» на самом излёте двадцатого века, в 2000 году, когда открылся для исследователей закрытый ранее по воле самой А. Эфрон архивный цветаевский фонд («... В небе — сохатый бьёт копытом», публикация Р. Б. Вальбе, послесловие Е. Эткинда).

Удивительные стихи.

Мотивы, образы и ритмы народной поэзии органично сплетаются в них с ярко и метко увиденными и запечатлёнными деталями жизни (жизни не людей чаще, а — той скудной и студёной природы заполярного Севера, в которой только «снега, снега, везде снега»):

На избах — шапки набекрень,
И пахнет снегом талым.

Вчера пуржило целый день,
Сегодня перестало.

...На солнце вспыхнула сосна
И замерла, сияя.

Вот и до нас дошла весна
В последних числах мая.

Возникающие только в конце цикла, возможно — в самом конце «туруханской эпопеи», в не датированных публикатором стихах, закрытые прежде, может быть, даже от самой лирической героини, в подсознание изгнанные ею образы и детали той, прежней, до страданий, до арестов, той, подлинной, жизни смыкаются в этих стихах с так же скрытой от самой себя, подавляемой

в себе, подспудной, неизбежной тоской о воле, о возвращении...

В этом смысле очень эмоционально сильным, задевающим какие-то глубинные, потаённые струны в читательском сердце оказывается первое из опубликованных, написанное в первый, самый тяжкий, надо полагать, год туруханской ссылки, стихотворение.

Оно сравнительно невелико по объёму, представляет как бы один миг из жизни обречённого на вечное поселение человека, но обозначает, вмещает в себя целую судьбу и является многослойным и, безусловно, композиционно завершённым. Увиденный в какой-то момент жизни (может быть, несёт школьная уборщица Ариадна Эфрон в эту минуту тяжеленное ведро с водой с реки, может быть — собирает в охапку только что расколотые ею для школьной печи дрова) «кадр»: птицы летят на родной для них, на вольный юг...

Птичий клин в небе. Он пронзительно-точно запечатлён с помощью образа из времён недавней страшной войны: уподобленный «солдатскому письму», «кадр» этот пробуждает целый ворох чувств и ассоциаций.

Улетают свободные, «милые», погостившие хоть недолго на северах (спасибо им за это!), вольные птицы...

А возникший образ солдатского (значит, по определению — не-вольного) треугольника продолжается «сургучёвой печатью солнца красного» на этом письме (тоска и тревога через намеченную ассоциацию с «казённым домом» растёт в сердце читателя).

Улетает птичий клин. А что же остаётся тем, кто провожает сейчас этих птиц взглядом, кто не волен в своей жгучей мечте улететь?.. «Нам останется ночь полярная, изба чёрная, жизнь угарная...»

И — вечный на ментальном уровне, из русских сказок её детства вдруг возникший скорбный финал, очистительная развязка: «Лучше трижды оземь ударюсь я, птицей серою обернуся...»

(Нет, не случайны были фольклорные мотивы и образы в поздних поэмах такого изысканного, такого тонкого, такого «серебряного» поэта, как Марина Ивановна Цветаева... Вспоминается вдруг прочитанное когда-то — о Марине, Але, фольклоре и Казанове: «Аля в курсе всего, что пишет её Марина. Она знает, кто такой Казанова, она знает пьесы „Приключение“, „Феникс“, знает, что есть поэмы „Царь Девица“, „На Красном коне“, „Егорушка“. А сколько стихов, написанных матерью в эти холодные, голодные годы, знает она! Аля часто первый слушатель, а порой и советчик, она всегда рядом».

И ещё — написанное уже самой Ариадной Эфрон: «Марина мне рассказывала о его

[Казанове] детства... и о его старости: как над ним все смеялись и уже никто не являлся (это было в Богемии). Марина рассказывала, а я бросала в воду камешки и слушала поезда... Жизнь мне его предстаёт так: чёрная молния. Смерть мне его предстаёт так: восхищён метелью. И больше всего я помнила глаза. Это было, кажется, в 1919 году».)

Казанова, чёрная молния и «снега, снега, вечные снега» вокруг ссыльнопоселенки Эфрон. И солдатским письмом — птичий клин в небе... Это было в 1949 году...

Солдатским письмом треугольным
В небе стая.

Это гуси на сторону вольную
Улетают.

Шёлком воздух рвётся под крыльями.
Спасибо, что хоть погостили вы.
Летите, летите, милые!

На письме — сургучёвой печатью
Солнце красное.

Унесёте его на счастье вы —
Дело ясное.

Нам останется ночь полярная,
Изба чёрная, жизнь угарная,
Как клеймо на плече позорная,
Поселенская, поднадзорная.

На такую жизнь не позарюсь я,
Лучше трижды оземь ударюсь я,
Птицей серою обернуся,
Полечу — назад не вернуся —
Погодите, я с вами, гуси.

А потом, наверное (уже наступил год 1950-й), было постепенное привыкание, пресловутая «притерпелость», да и как ни крути — а этот Север многие сердца, не в пример ей — гораздо менее поэтически, — да, Север и не такие сердца брал в полон...

Енисей сливается с Тунгуской,
Старший брат встречается с сестрою.

Та течёт полоской синей, узкой,
Тот — широкой полосой седою.
По груди широкой, богатырской
Стороны чужой, земли сибирской
Пролегают лентой орденскою.
Две реки идут одной рекою,
Две реки идут одной судьбою,
Так, как нам не велено с тобою.

И железные проходят зимы,
И чудесные проходят вёсны
Над моею жизнью нелюбимой,
Над чужой землёй орденосной.
Над чужбиною.

И сердце читательское вдруг кольнут эти последние три строки 1950 года: «Над моею

жизнью любимой, над чужой землёй орденосной. Над чужбиною).

И в стихах 1951 года снова будут такие вот плавные переходы от восхищения дивной, от человеческого зла свободной природой — ко всё той же невыносимой жажде: от этого зла неволи — к свободе.

В этих стихах каждое время года на пустынных туруханских просторах обретает свой облик и своё фольклорное почти значение. Любимое теперь — весна: «Появилась дрожащим комочком, необходимым цыплёнком...» Зима — про неё так: «Первой страницей зимы открывается день белой страницей». И вот — поистине бесценное «на северах» короткое полярное лето. С цветаевской интонацией и с цветаевской щедростью написано на белой, как снег, странице художником Туруханского районного Дома культуры это бесценное лето в тайге:

В тайге прохладной
Ребьчей радостью,
Ребьчей сладостью
Встречают ягоды.
Черничные заросли,
Брусничные россыпи.
Мол, живите до старости,
Мол, ешьте досыта!
Мол, кушайте, други!
Мол, счастливы будьте!
Мол, только пригубьте!
Мол, не обессудьте!..

А дальше, с цветаевской же бескомпромиссностью, — ответ (словно это продолжая: «Не надо мне ни дыр ушных, ни вещей глаз. На твой безумный мир ответ один — отказ»):

...Не хочу вас, заросли!
Не желаю, россыпи!
Не хочу — до старости!
Не желаю — досыта!
Мне б яблочка российского разок куснуть,
В том доме, где я выросла, разок уснуть!

«Всюду — жизнь»... И среди туруханского цикла Ариадны Эфрон появляются стихи, в которых твёрдой рукой мастера оказываются, на века уже теперь, начертаны портреты жителей Севера, портреты-сканы их дум, их чувств, их радостей и потрясений... К маленьким шедеврам, публикация которых не только бы тому, советскому ещё альманаху Красноярской писательской организации «Енисей» могла бы сделать честь, можно отнести, к примеру, «Праздник», «Ночь — а звёзды — рукой подать!» или это: «Ах, и белы моей земли снега...» Невозможно удержаться и не привести хоть несколько строчек из этого последнего стихотворения,

как бы монолога от лица старика — коренного жителя Севера:

...Я помню, как певала мать
и ветром вторил ей Таймыр
о том, как безысходна гладь,
о том, как безнадежна ширь
снегов, снегов зимы моей,
снегов, снегов земли моей —
снега, снега, везде снега,
ей ветром вторила тайга...

И ещё — самый финал этого большого и удивительно искреннего, неповторимого по силе проникновения в самую душу героя стихотворения:

...Где вы, земли моей снега?
где вы, зимы моей снега?
Лучами вымыты снега,
лучами выжаты снега,
в озёра вылиты снега.
Необратима и горда
восставших рек кипит вода,
восстав от ледяного сна,
вся к солнцу тянется тайга —
конец снегам, пришла весна,
корнями выпиты снега.

И конечно же, к шедеврам же (но только для того, советского краевого «Енисей» совсем не подходящим!) можно отнести стихи, в которых прошлое наконец-то настигает автора, соединяясь в этом «настижении» с пустынной и безлюдной туруханской землёй — и «Ночную молитву», и стихи об улочке её детства, о Борисоглебском переулке:

Мой первый шаг! Мой первый путь
Не зрением узнаю, а сердцем.
Ты ждал меня! о, дай вздохнуть,
Приотвори мне детства дверцу!..

Когда они были написаны? Неизвестно. Но думается всё же, тогда, когда воздух свободы уже коснулся её и миллионов советских людей груди — то есть после пятого марта 1953 года. Тогда только, в ожидании неминуемой реабилитации и неминуемого окончания шестнадцатилетнего кошмара её арестов, тюрем и ссылок, могла она, наверное, позволить себе начать душой и мыслями возвращаться — и в детство, и к любимой и единственной её Марине, и в «растоптаванную» их обеих Москву:

Я искала тебя всю ночь,
И сегодня ищу опять,
Но опять ты уходишь прочь,
Не дозваться и не догнать.

Не остыли твои следы,
Звук шагов твоих слышу я,
Но идёшь, не задев земли,
Но идёшь, не смутив воды,
Ненастигнутая моя.
Веретёнами фонарей
Отражается ночь в реке,
Не сожму я твоей руки
В опустевшей своей руке.
Край одежды твоей ловлю,
Между пальцев — клочок зари.
Знаешь ты, как тебя люблю,
Хоть со мною — заговори!
Иль земная чужда печаль?
Но в какой же тогда тоске
Возвращаешься по ночам
К растоптавшей тебя Москве?

Это стихотворение без названия впрямую тоже было бы назвать «ночной молитвой» или повторяющимся из ночи в ночь сном — ведь только в них, во снах и молитвах, можешь ты вернуться, вернуться и увидеть, «край одежды лова», самых дорогих и близких тебе, единственных твоих людей — то есть тех, кого у неё к тому времени уже практически не осталось.

Да и не случайно завершающее туруханский цикл стихотворение так и начинается — с вопроса самой себе: что это, сон или явь, явь или всё же сон?.. (И как удивительно в этом полусне-грёзе ночная Москва написана: все, все приметы советской эпохи — и «пустые глазницы окон», и печатающий свой вечный шаг караул, и «в небе забытые флаги», — а взор-то на всё это направлен иной: взор, взгляд, «как метель», той, с Борисоглебского 1919-го, кажется, года переулка, жившей в нём большеглазой девчушки...)

Вправду? иль, может быть, снится
Чёрная эта река?
Окон пустые глазницы,
Фонарей золотые ресницы,
Лунных домов бока?
Площадью тёмной, сонной
Караул печатает шаг,
Плещется опалённый
В небе забытый флаг.
Если ты сон, то вещей.
Так я приду домой.
Смолоду мне обещан,
Матерью мне завещан
Город — мой!

После почти двухлетних хлопот о реабилитации она всё же состоялась. И деньги на дорогу домой были собраны. Был 1955 год. Совсем не скоро, но однажды они всё же появятся —

своей угол, своя комната, свой дом. Стихов своих больше, видимо, не будет — они кончатся после прощания с Красноярским краем. Будут вечные переводы чужого (но ставшего тут же — её), будут собиранье цветаевского наследия и первые долгожданные цветаевские публикации. И та паломническая поездка 1965 года в Туруханск, с которой мы начали рассказ об Ариадне Сергеевне Эфрон, дочери Марины Цветаевой.

... Тогда же, в середине 1950-х, домой, в до боли родной Канск, вернётся ещё один репрессированный поэт, прошедший почти теми же лагерными дорогами, тоже выживший на них и оставшийся, несмотря на исковерканную полностью судьбу, человеком.

Любовь Рубцова. Биография коротка и незатейлива. Она, увы, типична для советского человека, озарённого в двадцатых социалистическими мечтаниями, в тридцатых пытавшегося взлететь — и в предсороковые опалённого за это кострами репрессий.

Детское, отроческое, юношеское кредо всего этого поколения (не забудем здесь восторженных писем о новой, советской стране, которые писала в 1937-м из Москвы европейски образованная современница и почти ровесница Любове Рубцовой по фамилии Эфрон) — кредо это было просто и ясно:

Жить гордо, светло! Не в пустяшных забавах —
в исканиях! Быть человеком везде,
где б ни были мы: на вершинах ли славы,
в обычном ли, будничном нашем труде.
Родилась в 1922 году, родители — большевики,
организаторы колхозного движения. С детства любила стихи — и читать, и писать.
И было в том своё очарование, —
То вдруг взлететь под самый небосвод,
То в диком, первобытном ликованье,
Оглохнув, камнем падать в жерло вод...

Семиклассницей в 1938 году в Канске, будучи убеждённой комсомолкой и секретарём школьной комсомольской организации (любимая книга — «Овод»), обратилась в органы НКВД, чтобы вместе с одноклассниками защитить арестованных школьных учителей литературы, осмелившихся рассказывать своим ученикам о творчестве Сергея Есенина и Александра Блока. Была вместе с поддержавшими её друзьями арестована по обвинению в создании контрреволюционной группы и распространении антисоветских листовок, осуждена на десять лет исправительно-трудовых лагерей.

В стихотворении, названном «Родина», она спустя годы напишет (и, как в стихах Эфрон, снова и снова будет возникать вечная тема бессонницы и счастливых и кошмарных снов):

Дала ты солнце мне в наследство,
Всю землю в кладях и садах,
Но — как стряслось, что, скомкав детство,
В мою судьбу вошла беда?
Вошла весной, да не с весною,
С её хмельным блаженным сном...
И твердь земная подо мною
Вдруг заходила ходуном.
Сквозь пляску головокружений,
Тропой, где каждый шаг тернов
Чредою взлётов и падений,
Красивых снов и пробуждений
От не сбывающихся снов, —
Я шла на ощупь, как слепая,
В ожогах от чужих костров,
Ценой жестокой покупая
И трудный хлеб, и горький кров...

Как и у Эфрон, тоже шестнадцать лет тюрем, лагерей, поселений. Сочинённые ею стихи старалась держать в памяти (бумаги, чтобы записать их, не было). В лагере была ударницей труда, в лагере же заболела туберкулёзом, последующие поселения добавили болезнь сердца. Здорowie было безвозвратно потеряно.

Мучительно вспоминала о начале своего и по-други с другом крестного пути (юные школьные исследователи красноярской поэзии с горечью цитируют эти пронзительные, без знания подробностей судьбы — кажущиеся очень красивыми, строки):

Мы осыпаны звёздами. Звёзд — не пройти!
Ах, черёмуха! Снова она
Занесла, позазвездила наши пути,
Кружит головы нам белизна.
Но у звёзд, как у памяти, грани остры.
Лепестки их в сердца проросли...
В белоснежные — снежные звёзды-костры
Две девчонки с утра забрели.
Две смешные... Да так и запутались в той
Кутерьме ослепляющих звёзд...
Ах, брести б по колено в пыльце золотой.
До конца уж брести, в полный рост...

По возвращении в родной канский дом сначала зарабатывала на дому шитьём. Потом попыталась начать публиковаться и найти (это с неоконченным-то школьным образованием и навеки испорченной биографией!) какую-то работу. И работала в качестве внештатного корреспондента, и публиковалась (но под псевдонимами) в местной газете «Власть Советов». Как вспоминали её тогдашние канские коллеги, «по характеру была очень ранимой, чуткой, никогда ни словом не обмолвилась о своей беде, выполняла задания всегда с отдачей, она торопилась быстрее реализовать себя».

Начавшаяся публикация её стихов стала возможной благодаря нескольким обстоятельствам. Прежде всего, это, конечно же, наступление послесталинских послаблений в жизни страны и общества. Как сообщает автор одного из очерков о судьбе и творчестве Любови Рубцовой, В.Шанин, талант её открыл учитель литературы и поэт из города Иланского Павел Мостовской (ещё одна судьба и ещё один поэтический дар, ожидающие своего исследователя!), отправивший поразившие его стихи неведомой до того миру поэтессе «самому» Казимиру Лисовскому. И — состоялась публикация стихов «бывшей эчки» в «Литературной газете»! Лисовский писал: «Искренность, предельная искренность — вот основные черты творчества Л.Рубцовой...» И добавлял: «Главное — есть поэт большого сердца, честный и умный».

В одном из своих стихотворений поэт Рубцова так сказала, тоже честно и просто, обращаясь к своей спутнице, выручавшей её столько лет, — к своей пятерне:

Ты умела неплохо грузить и рубить,
ты лопату умела как надо держать!
Двух вещей не умела ты — слабого бить
и врагам — даже ласковым! — руки их жать.

После этих всех вдруг чудом состоявшихся публикаций в местной и центральной прессе и по настоятельным рекомендациям новосибирских писателей в план Красноярского книжного издательства вошли несколько поэтических сборников Л.Рубцовой, вышедших последовательно в 1958, 1960 и 1962 годах. Тиражи их были по тем временам совсем крохотными — три-пять тысяч экземпляров. Так и выпускалась поэзия немаститых начинающих авторов в местных издательствах. Но это были её, Рубцовой, настоящие книги, пусть и тоненькие, в бумажных обложечках...

Как подтверждают все, кто её помнил, была она неприхотливым и очень порядочным человеком. Ей хватало на день куска хлеба и стакана воды, да ещё пачки «Беломора», да ещё места, где можно было бы приклонить на ночь голову. Говорят, любимым её «спальным ложем» был дерматиновый диванчик в книжном издательстве, на котором провела она несколько месяцев своей жизни, когда готовилась её первая книжечка...

Размышляя о своей жизни во втором своём сборнике, она обращается к этой самой жизни, обещая ей в будущем немислимые дары:
...У чужого огня не любила я греться,
хоть и брал до кости острый ветер порой...
Ты сквозь пламень и лёд прогнала моё сердце,
Опалила их странно влекущей игрой.

Научась не бояться ни блазну, ни сглазу,
сквозняки презирая, над болью смеясь,
запрокинув лицо, я ловила всё сразу:
щедрость вешних дождей, листьев тонкую вязь.
И томленья кукушки по песне неспетой,
и стыдливый восторг молодых соловьих...
Упоённой влюблённости, жадности этой,
знаю, хватит на десять на жизней моих.
Лишь бы людям со мною терпенья хватило,
лишь бы миру большому прийтись «ко двору»!
Ты сама этот мир красоты мне открыла,
чтобы я научилась любви и добру.
Жизнь моя!.. Так гони меня снова и снова,
ты носи меня в самую кипень огня!..
Может быть, я ещё золотые подковы
из стихов отолью тебе, верность ценя!

И, может быть, главное, что позволило её
стихам быть напечатанными на стыке пятидеся-
тих-шестидесятых, — это соединение в них трёх
качеств.

Искренности, которую отмечал Лисовский.

Природного лиризма, который сразу же, во все
времена, бывает понят, почувствован и услышан
читателем.

И — той самой гражданственности, которая
всегда была востребована обществом (и про ко-
торую в те же примерно годы новый, знамени-
тый уже поэт из нового и знаменитого молодого
поколения напоминал в своём прославленном
стихотворении-манифесте, как будто её, Рубцову,
и имея при этом персонально в виду: «В ней [в
России] суждено поэтами рождаться лишь тем,
в ком бродит гордый дух гражданства, кому
уютя нет, покоя нет...»).

Горько и мучительно-искренне начинавшееся
стихотворение Любови Георгиевны Рубцовой
«Родина», процитированное нами в начале
повествования о ней, ведь так с непритворной,
преданной, искренней любовью к своей земле
заканчивается:

...Я шла к тебе тропой окружной,
сквозь ропот трав и хруст ветвей,
чтоб каплей маленькой, да нужной
кипеть и жить в крови твоей.
О родина моя, Россия...
Слова заветные коплю
не для того, чтоб всех красивой
пропеть тебе своё «люблю!».
Любить легко... О, я бы спела!
Но... словно хворь, в душе таю,
что мало, мало я успела,
чтоб заслужить любовь твою!

А ещё, пожалуй, помогло ей «пробиться»
в достаточно ограниченное и определяемое со-
ответствующими инстанциями число местных

печатательных авторов то качество, которое нико-
гда не вызывает отторжения издателей в Рос-
сии. Которое непременно находит мгновенный
отзыв в душе читателей из молодых поколений.
Назовём это качество социальным оптимизмом,
что ли...

Последний рывок в высоту

Землю стужей лютою сковало...
На берёзу, выбившись из сил,
Опустился снегирёк усталый,
Цепенело веки опустил.
Всё, конец... Позёмкою зловещей
Бедолага, кажется, отпет...
Больше на ветру не затрепещут
Смёрзшиеся крылышки... Но нет!
Чуя смерть, в отчаянном усилье
Снегирёк с надсадою привстал,
Поднял коченеющие крылья,
В вышину рванулся — и упал...
Пусть рывок последний и напрасен,
И похож скорее на мольбу,
Но прекрасен — чёрт возьми! — прекрасен,
Славя жизнь как вечную борьбу!

Это стихи из последнего её сборника,
1962 года. В 1963 году она, наконец, переберётся
из Канска в Красноярск, а в 1966 году, незаметно
и тихо, как жила, уйдёт в возрасте сорока четы-
рёх лет, прожив отпущенные ей немногие годы
со всё тем же отроческим «оводовским» искрен-
ним убеждением:

...Но если бы и заново начать
могла я жизнь — с не траченною силой.
я начала бы так же сгоряча
и поспокойней доли не просила б.
Всегда искать, стремиться в новый путь,
дышать, дышать восторженно и жадно,
снегам и ливням подставляя грудь,
подхлестывая сердце беспощадно.
Ведь счастье — не жемчужина в горсти,
оно в неожиданных встречах, в расставаньях,
в неутомимой жажде познания,
оно в пути, оно всегда в пути!
Его спокойным сердцем не найти!

...А ещё в 1956 году в каталоге выпущенных
Красноярским книжным издательством книг
впервые появится вдруг новое поэтическое
имя — прибывшего в 1954 году по распределе-
нию из Москвы выпускника, нового заведующе-
го краевым методическим кабинетом культпро-
светработы Зория Яхнина.

Ещё через год — возникнет на обложке пер-
вой её книжечки имя коренной ленинградки,
журналистки «Красноярского комсомольца»
Майи Борисовой.

В 1960-м — выйдет первый поэтический сборник выпускника МГУ, режиссёра краевой телестудии Вячеслава Назарова.

Это были первые новые для поэтической Приенисейской Сибири имена.

Это было начало новой для Сибири и всей России поэтической эпохи...

Это стучалась в окна и двери их будущих читателей долгожданная оттепель...

Та самая, в которую самый её, пожалуй, знаменитый представитель, уже выше цитированный, скажет те самые, знаменитые слова: «Поэт в России больше, чем поэт...»

...Поэт в ней — образ века своего и будущего призрачный прообраз.

Поэт подводит, не впадая в робость, итог всему, что было до него...